

Е. ДРАБКИНА*

Раздумье**

В тот год долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с мамой колебались, идти ли на концерт в Большой зал Консерватории, куда у нас были билеты. Какое счастье, что мы все же решили пойти!

На улице мело. Лампочки иллюминации слабо светились сквозь снежную мглу. У Дома Союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, на его штык были нанизаны генералы, помещики, фабриканты.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал знамена и раскачивал провода. К подъезду Консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Стряхнув с себя снег, мы поднялись наверх.

* *Елизавета Яковлевна Драбкина* (Драбкина-Бабинец, 1901–1974) — русская революционерка; советская писательница, историк, мемуаристка.

** *Драбкина Е.* Черные сухари. М.: Советский писатель, 1963. С. 371–376.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители вносили пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись, — то ли устал, то ли старался согреться.

Появились оркестранты — в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер — Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого крахмального пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Кусевицкий быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахла поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно дотронулась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — вступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичей. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступить, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь бьет, — негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается устроить поудобнее левое плечо, из которого еще не были извлечены эсеровские пули.

Это движение напомнило мне, как работники Совнаркома и даже Секретариата Центрального Комитета партии, помещавшегося вне стен Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, а потом он стал выздоравливать, и какое это было счастье для нас, когда мы приходили на обед в кремлевскую столовую и видели через окно, как он гуляет по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменял позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь, слушала выступления ораторов, проходила мимо Ленина, пела, произносила клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходилась по своим районам, чтобы там закончить празднование Дня международной солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприятно, обложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег, Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела более празднично, чем всегда. На здании Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) были повешены огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубчике Кремлевской стены трепетал красный флажок, и даже Минину и Пожарскому сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру Стеньки Разина — памятник должен был быть открыт сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!» Молодежь хором декламировала строки из последнего стихотворения Демьяна Бедного:

О Шейдеман, лихая тварь,
Как буду я судьбой утешен,
Когда увижу тот фонарь,
На коем будешь ты повешен!

Около полудня на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с приподнятой речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтоб перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтоб все, кто пришел, могли услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямка была вырыта, подъехала подвода с саженцами, Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее на предназначенное место, засыпал землей, полил водой — и только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он; видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у подножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши, — говорил он, протянув перед собой почерневшую от земли руку, — как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...

Шум аплодисментов возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая, похлопывая себя, чтоб согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постучал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет-Воробей, — окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием...

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!

Вечер в Кремле

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одеты они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичей был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну», — сказал Владимир Ильич в дверях, оборотись к отцу» и встряхнул головой, как бы желая что-то от себя отогнать.

Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушивая ответы, часто поругивался, любимыми ругательными словечками его были: «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующим вооруженными силами республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление, — сказал Владимир Ильич. — Когда был у меня, развивал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках: прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Клаузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Вот только имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная оконной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны, — Блюхере, Азине, Чевереве, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали народный ум и творческая импровизация, которые вкладывали эти военачальники в свое полководческое искусство.

Отец с увлечением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана, водил по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки и держал своих людей и коней накормленными и напоенными, а преследовавшего его противника — голодным и без воды. Как сам делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевереве, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чеверева во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательной чертой Чеверева было то, что на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом он почувствовал своим пролетарским инстинктом ахиллесову пяту партизанщины и понял, что без знаний командовать нельзя. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членами Реввоенсовета армии Шориным и Гусевым.

— Главная беда, — частенько повторял он, — что не знаем, как командовать. Во фланг? А как ударить во фланг — этого-то и не знаем. Эх, если б подучиться немного, всю бы эту сволочь живо расколотили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию, и в ближайших же боях обнаружилось, каким способным учеником он был. Полк Чеверева оказался самым стойким из всех, наступавших на Ижевск. После окончания Ижевско-Воткинской операции он добился посылки в Академию генерального штаба, но, не прочувшись и двух месяцев, сбежал от царившей там мертвящей схоластики преподавания.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульты, — жаловался он Гусеву. — На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым. днем? Дьявол их забери вместе с их катапультой!

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, созданные благодаря особым качествам нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое золотое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало оборудованных бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, заменял броню мешками с песком и, дав такому составу звучное имя: «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым», превращал его в бронепоезд, способный к бою.

Отец рассказывал Владимиру Ильичу, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и берется навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое течение реки и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы переброшены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну (разрешит?.. не разрешит?..), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, и позвать сюда Красикова и немножко помозицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменилось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись, расхохотались, — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах и эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии, изобиловавшей, как и всякая такая борьба, массой всяческих перипетий — и трагических и комических.

Из их разговора я поняла, пожалуй, только одну забавную историю, которая произошла с одним из русских социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», но не обратил внимания на то, что оно произносится «жэ», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он снял комнату в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты и квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив там вещи, он отправился на явку и весь день посвятил изучению внутривнутрипартийных разногласий. Домой вернулся поздно, хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно на верхнем этаже раскрылось, в нем появилась голова в ночном чепце и произнесла:

— Qui est ca?*

— Жжжжжжжж, — ответил он.

— Qui est ca? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжжжж, — снова прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван. Надежда Константиновна — рядом с ним.

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь ушел в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное — все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

Я уже не раз слышала и от мамы и от товарищей отца рассказы о его голосе — о том, как Фигнер предложили ему сделаться солистом Мариинского театра, как шумное пение отца во время II съезда партии послужило причиной переноса заседаний съезда из Брюсселя в Лондон. Рассказывали, что, когда отец был в ссылке в Березове, его пение было слышно с одного берега широкой Сотьвы на другом.

В тот вечер у Владимира Ильича он пел негромко, в четверть голоса. Теперь Владимира Ильич сцепил руки и сидел, слегка на-

* Кто это? (фр.).

гнувшись вперед. В открытое окно видно было звездное ночное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям, которые переживала тогда великая русская революция.